

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Куприн

Лавры

«Public Domain»

1909

Куприн А. И.

Лавры / А. И. Куприн — «Public Domain», 1909

«— Почтеннейшая публика, прекрасные дамы и милостивые господа! Я тоже, с вашего позволения, расскажу свою историю, из которой вы ясно увидите, как непрочна земная красота и как хрупка и преходяща слава. Этот голос раздался из самой глубины обширной помойной ямы, где в кислой, вонючей тьме догнивали остатки овощей, картофельная шелуха, безобразные тряпки, кости, веревки, лимонные корки, бумажки, окурки и рыбы внутренности, где громоздились в куче разбитые бутылки, проволока, жестянки и пустые спичечные коробки и где хозяйничали вволю огромные бурые крысы, мудрые и злые животные с голыми хвостами и острыми черными глазками...»

© Куприн А. И., 1909

© Public Domain, 1909

Александр Иванович Куприн

Лавры

Сказочка

– Почтеннейшая публика, прекрасные дамы и милостивые господа! Я тоже, с вашего позволения, расскажу свою историю, из которой вы ясно увидите, как непрочна земная красота и как хрупка и преходяща слава.

Этот голос раздался из самой глубины обширной помойной ямы, где в кислой, вонючей тьме догнивали остатки овощей, картофельная шелуха, безобразные тряпки, кости, веревки, лимонные корки, бумажки, окурки и рыбы внутренности, где громоздились в куче разбитые бутылки, проволока, жестянки и пустые спичечные коробки и где хозяйничали вволю огромные бурые крысы, мудрые и злые животные с голыми хвостами и острыми черными глазками.

– Позвольте, кто это говорит? – спросила надменно растерзанная грецкая губка, у которой было блестящее прошлое, проведенное в уборной хорошенькой женщины.

– Это я, лавровый лист, – отозвался скромный голос. – Меня, к сожалению, не совсем видно, потому что я сверху придавлен старым башмаком и засыпан каким-то мусором. Но, если судьбе будет угодно когда-нибудь извлечь меня из этих недр на поверхность, я, конечно, сочту долгом представиться всем моим высокочтимым соседям. Я получил хорошее воспитание, вращался в большом обществе и потому знаю светские обязанности.

Так вот моя история, милостивые государыни и государи:

Я происхождением южанин и вырос на Южном берегу Крыма в большой зеленой кадке, обитой железными обручами. Как сквозь какую-то волшебную пелену вспоминаю я небо, море, горы и стрекотание цикад в жаркие ночи. Помню благоухание глициний, струивших вниз свои голубые водопады, и благоухание маленьких белых вьющихся роз, пахнувших фиалкой, и сладкий лимонный аромат магнолий, огромные белые цветы которых были точно выточены из слоновой кости, и роскошный, страстный, горячий запах тысяч штамбовых роз: белых, желтых, палевых, розовых, пунцовых и темно-пурпурных.

Я был тогда молод и мало смыслил в делах житейских, так же мало, как и сотня моих братьев, происшедших от одного и того же ствола. Впервые о великом значении лавровых листьев я узнал в томный летний вечер, когда мимо нас проходила девушка в белом платье вместе с гимназистом. У девушки в рыжих волосах горело пушистым золотом заходящее солнце, а у гимназиста был мрачный вид и пояс, спущенный ниже бедер, отчего ноги его казались до смешного короткими.

– Посмотрите, Коля, – это ведь лавры! – закричала девушка в восторге. – Настоящие лавры! Те самые лавры, которыми награждали поэтов и победителей на Олимпийских играх, которые не давали спать Мильтиаду, которыми увенчали Петрарку...

Но гимназист был, как я потом узнал, влюблен, разочарован, оставлен на второй год в четвертом классе и, кроме того, принадлежал к партии а.а., то есть был «атчаянным анархистом». Он сорвал один листок, растер его между пальцами, понюхал и сказал суровым басом:

– И которые кладут в суп...

Прошло три лета. Я уже порядочно вытянулся и достиг юношеского возраста, когда наше деревцо пересадили в другую кадку, гораздо больших размеров, и вот однажды осенним утром закутали нас в рогожу, обвязали мочалками и отправили на север. Ехали мы и на телеге, и на пароходе, и по железной дороге, и опять на телеге, и, по правде сказать, это было пренеприятное путешествие среди постоянной духоты, темноты и качки. Так мы и приехали в этот большой город, где протекла вся моя шумная и разнообразная жизнь и где под конец моих дней я имею высокую честь беседовать с таким почтенным собранием.

Поместили нас в зимнем саду, в большом пышном доме, похожем на дворец. Над нами была стеклянная крыша, и южная стена теплицы была тоже из стеклянных рам, но искусственный газон, узенькие дорожки, посыпанные песком, и фонтан над бассейном из ноздреватого камня должны были напоминать о настоящей природе. Несколько раз в год во дворце бывали блестящие балы. Тогда лавровые деревья вместе с пальмами и другими большими растениями перетаскивались из зимнего сада в комнаты, на лестницу и даже на подъезд, покрытый, как шатром, полосатым тиком. Какое общество я перевидал в эти дни, какие прекрасные женщины, выхоленные в лучших человеческих оранжереях, пробежали мимо меня наверх по ступеням, устланным толстым красным ковром, перебирая своими маленькими ножками в белых атласных туфельках. Какие плечи, руки, кружева, жемчужные ожерелья на обнаженных шеях. Какие ленты, звезды, бакенбарды, шпоры, мундиры, фраки, цветы в петличках, какая чудесная музыка, свет, запах духов!

И все это прошло, как сон. Однажды зимним днем, когда снег шел так густо-густо и такими огромными хлопьями, как будто бы кто-то там наверху уничтожал всю свою корреспонденцию, накопившуюся за тысячу лет, пришли мужики и перенесли нас в большую пустую комнату, посредине которой лежал на черном возвышении, в длинном серебряном ящике, седой человек с закрытыми глазами и с бледным лицом, улыбавшимся мудрой и благодарной улыбкой. Приходили и уходили люди, очень много людей, пели, говорили нараспев, опять пели, и вся комната наполнялась тогда синим пахучим дымом, в котором тепло и мглисто мерцали огоньки свечей. И было очень странно видеть, как все глядели на лежавшего и говорили только о нем и пели только про него, а он все лежал и лежал, не открывая глаз и тихо улыбаясь.

Когда его унесли и запах синего дыма еще стоял в пустой комнате, пришли веселые люди в красных рубашках и замазали белой краской оконные стекла. А меня с моими братьями взяли на плечи двое рабочих и понесли через весь город в цветочный магазин. Несмотря на холод, весело было мне глядеть сверху на экипажи и вагоны и на головы тысячной толпы.

Но в цветочном магазине я пробыл недолго. Нас купил какой-то трактирщик и поставил в зале между столиками, в сомнительной компании с искусственными пальмами. Плохая это была жизнь. Нас часто забывали поливать, а в нашу кадку каждый день набрасывали пропавшие сигарных и папиросных окурков. По вечерам играл орган, визжали скрипки, в воздухе висел чад и дым, а в стеклянном аквариуме стояли неподвижно, едва пошевеливая плавниками, большие, темные, издыхающие рыбы. Время от времени слышал я знакомые фразы о Мильтиаде и Петрарке, но только скучал от них. Время и жизненный опыт состарили меня. Потом хозяин наш разорился. Кто-то скупил за долги и орган, и столики, и белые салфетки, и аквариум. Но растений новый владелец не любил. И мы опять попали в цветочный магазин.

Не буду распространяться подробно об этом тусклом времени. Скажу только, что часто брали нас напрокат и украшали нами то лестницы во время платных балов, то церкви, то рестораны под Новый год, то кухмистерские в свадебные вечера. Всего и не упомяну.

Но раз глубокой осенью пришли в магазин двое: девушка в непромокаемом плаще и краснощекий, курчавый, веселый и шумный студент, в котором я узнал прежнего мрачного гимназиста, свидетеля моего детства. Они заказывали лавровый венок, небольшой, простой лавровый венок и к нему широкую красную ленту с надписью золотыми буквами: на одной половине – «Гению русской сцены», а на другой – «От учащейся молодежи».

Да, это был мой смертный приговор. В тот же день меня отстригли от родного ствола и сплели в кружок с другими листьями. А вечером человек в красном фраке с золотыми пуговицами пронес меня между двумя рядами сидящих людей, передал другому человеку, а этот передал третьему, который нагнулся сверху, чтобы взять меня. Этот третий, сильно освещенный огнями, был в черном бархатном камзоле, в черных чулках в обтяжку и в белокуром парике. Он улыбался счастливо, искательно, гордо и неестественно, и вот я увидел с высоты много сотен человеческих лиц, как смутно-бледные пятна. Одни пятна, пятна, пятна. Я услышал рев

и плеск толпы и убедился, что лицо, к которому я прикасался, было влажно и горячо. И долгое время на моей нижней стороне сохранялся жирный розовый мазок грима.

Так началась наша общая жизнь с этим бритым рослым человеком и продолжалась много-много лет. Жили мы и в больших, просторных комнатах гостиниц, и на чердаках, и в подвалах. Когда временами бритый человек терял равновесие и пошатывался, то он снимал нас с гвоздя, прижимал к губам и мочил слезами. «Этот скромный веночек – самый лучший дар признательных и чистых сердец! – восклицал он блеющим голосом. – Положите его со мной в могилу». А иногда кричал своему слуге: «Убери к черту этот банный веник, вышвырни его за окошко!» Но в конце концов все-таки вышвыривать нас не позволял.

Но... все проходит и все повторяется в этом мире. Однажды черные лошади с белыми султанами на головах повезли моего бритого человека, лежавшего под балдахинном в узком ящике, на край города. Мы с другими венками ехали сзади него на маленькой повозочке, а позади нас шла толпа. Люди опять попели, поговорили, покадили знакомым мне синим дымком, опустили в яму бритого человека и разъехались.

Прошло лето, осень, и наступила зима. Над бритым человеком положили мраморную плиту и поставили часовенку. Какая-то дама в черном навещала нас изредка и смахивала пыль с венков. Венки были разные: из иммортелей, и из живых цветов, и из зеленой жести, и из крашеной материи. Были и серебряные венки, но их увезли сейчас же после того, как зарыли бритого человека в землю. А мы все так и висели по стенкам часовни, разрушаясь от времени, от ветра и от сырости.

И однажды дама в черном сказала сторожу:

– Пожалуй, надо убрать некоторые венки. Уж очень некрасиво. Вот этот, этот и тот...

И правда, у всех у нас вид был неказистый: краски слинялись, цветы сморщились, листья покоробились и обломались. В тот же день сторож забрал нас и свалил в темную, холодную каморку позади своего жилья, вместе со всяким хламом.

Сколько я там пролежал времени, я не могу сказать. Может быть, неделю, может быть, десять лет. Время точно остановилось: да и я сам уже был почти мертвецом. Как-то зашел к сторожу знакомый старьевщик, и нас вытащили на свет божий. Перебирая всякую рухлядь, он взял в руки лавровый веночек, поглядел на него с усмешкой, понюхал и сказал:

– Ничего... Годится и этот. Еще пахнет. Он ощипал веночек, вымыл листья, чтобы придать им свежий вид, и отнес в мелочную лавочку, и я долго пролежал на полочке в бумажном мешочке, пока не пришла однажды утром кухарка из дома напротив.

– На копейку перцу, на три луку, на копейку лаврового листа, на три копейки соли, – просыпала она скороговоркой.

Толстая потная рука опустилась в тюрник и бросила меня на весы. Через час я уже кипел в супе, а вечером меня выплеснули в грязное ведро, а дворник отнес меня на помойку. Здесь и окончилась моя долгая, пестрая жизнь, начавшаяся так поэтично...

Рассказчик помолчал и прибавил со вздохом:

– Все проходит в этом мире...

Слушатели молчали задумчиво. Молчали, поводя усами, бурые умные крысы с голыми хвостами. Один только древний шагреновый переплет, когда-то облекавший очень глубокомысленную книгу, сказал наставительно:

– Все проходит, но ничто не пропадает. Но старый башмак зевнул во весь свой разодранный рот и сказал лениво:

– Ну, это, знаете ли, не утешительно...